

БОРИС КУТЕНКОВ

НЕРАЗРЕШЁННЫЕ ВЕЩИ

СТИХИ



«ЕВДОКИЯ»
2014

НЕРАЗРЕШЁННЫЕ ВЕЩИ

By Boris Kutenkov

Copyrights © 2014 by Boris Kutenkov

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced in any form or by any means, including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the Publisher and/or the Author, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

Design by Evdokia Slepukhina

ISBN 978-1-304-69015-9

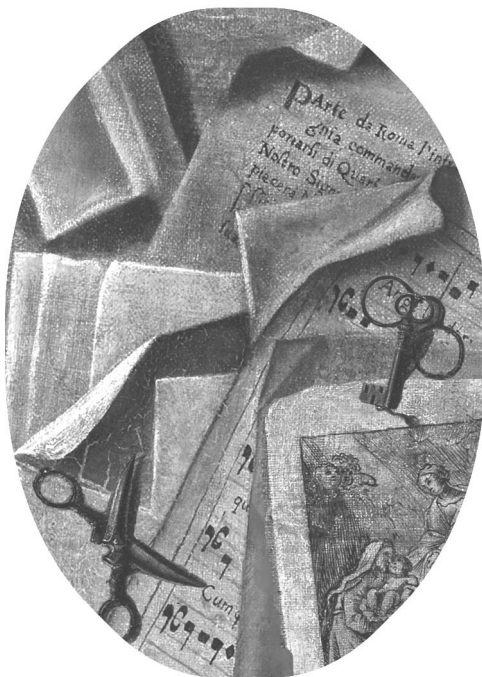
Eudokiya Publishing House
eudokiya@gmail.com

Printed in the United States of America

Борис Кутенков. Неразрешённые вещи: Стихотворения. / Составитель: Наталья Попова. Предисловие Бахыта Кенжеева. Послесловие Людмилы Вязмитиновой. – Eudokiya, Екатеринбург-Нью-Йорк, 2014. – 76 с.

Корректор: Татьяна Никольская
Компьютерная вёрстка и дизайн: Евдокия Слепухина

НЕРАЗРЕШЁННЫЕ ВЕЩИ



Из ненужности, из ничего

Магистраль стихов Бориса Кутенкова – наверное, такая же, как у других настоящих поэтов. Наверное, её стоило бы назвать *дорогой к свету*.

*Свет, упавший из тишины дворов,
человек, заблудившийся на пути к себе.
Если это песня – сыграй, будь хорош,
на солёной дудочке, ледяной трубе.*

Так вышло, что жизнь у каждого из нас всего одна. Она лежит в жестяной коробочке, как лекарство от смерти. Потрясёшь – громыхнёт. И коробочка у каждого своя, и лекарство своё. А открыть, что там, собственно, внутри, – не удаётся. Можно только догадываться, да и то с помощью таких сомнительных вещей, как поэзия, философия или изящные искусства.

*рельсы сходятся реки расходятся
смерть на полке как дева ничком
в бесконечное зеркало смотрится
пассажир на излёте ручном*

Нелёгкий путь, подразумевающий огорчения, заблуждения, даже отчаяние. Зато – свой собственный.

*Всё смешалось теперь, и не страшно, что нет людей,
а в ночи соловей поёт, и цветёт репей,
и не жалко в ночи ледяной замёрзшего соловья,
ибо жизнь у него – своя и песнь у него – своя.
<...>*

*Пестрядь – нотная звукорядь, а над садом – гранёный звон,
это реки уходят вспять, и имя им – вавилон.*

*Значит, выпьем за скорый суд, за ночной разорённый сад,
скоро зеркало поднесут, и в него обратится взгляд.
И увидим лицо в огне, и согреется соловей,
и Твоя долетит ко мне, и станет равна – моей.*

Кто этот Ты? Тот или иной бог? Смысл жизни? Это не столь важно. Существеннее сам процесс поиска, создания стихотворений «из простого стекла, из ненужности, из ничего». Когда Кутенков пишет, «что поэту диктует, мол, голос по сторону ту, // что поэт, мол, иной человек, и, вообще, не совсем человек...», он тут же оговаривается и, не то лукавя, не то стесняясь, называет всю эту романтику «лабудой, ерундой». По большинству этих стихотворений, однако, рассыпаны свидетельства преданности поэта своему дару, который «запрещает судить по-земному».

Обнаруживается в стихах и значительное количество примет современности типа айфонов, принтеров и диджеев. Мне кажется, автор при этом явно ориентируется не на проходящие приметы времени, а на более вечные темы. Даже создаётся впечатление, что вышеозначенные слова он употребляет с лёгкой иронией («читатель ждёт уж рифмы розы; // На, вот возьми её скорей!»).

Можно было бы отметить, что поэзии Кутенкова свойственна существенная метафизичность, не будь эта фраза столь наукообразной. Скажем проще: ей свойственно пристальное внимание к самым главным вопросам бытия. Жизни, любви, смерти, одиночеству. От напыщенности наш поэт лечится легкомыслием («вот любовью летит самолёт навьючен // в голове у пилота секретный ключик»), которое, впрочем, никогда не лицо – только полумаска. Ещё он, будучи человеком начитанным, опять же не без иронии широко пользуется цитатами и отсылками. Хармс, Пушкин, Тютчев и Ахматова могут у него прекрасно соседствовать в одном стихотворении. Впрочем, обращаясь к великим предшественникам, он не столько «ворует» у них цитаты, сколько помещает их в контекст новой (своей) жизни, как бы пробуя на прочность («...Когда человек умирает, // изменяется его ЖЖ...»), и радостно отмечает: нет, цитата не проржавела и прекрасно может

поработать на новом месте. Иной раз он спорит с великими: «сияй, сияй, дыра у правого колена...» (это с Тютчевым) или «печаль пустых очей, как водится, светла» (это сами-знаете-с-кем).

О чём эта книга – сказать не могу. Для этого её следует прочесть. Хотя, с другой стороны, автор проговаривается о её главной теме:

*Жизнь, которая так хотела
всего лишь летать, как птица.
И глядит в темноту на последнем свету,
не умея ни плакать, ни злиться.*

Бахыт Кенжеев

I

Так свет и ужас говорят,
согласные друг с другом;
со звуком спорит звукоряд,
лопата спорит с грунтом;
на несколько часов подряд
дождём заряжен водоём;
так смерть гласит через меня
вседневным словарём.

Так знает смысл о нас самих,
до времени разжёван,
и сбитый залпом грозовым
невидный прокажённый, —
осмеян всеми и забыт,
но не забывший ни о чём, —
встаёт — и в голос говорит
о царствии своём.

Определение поэзии

Это – губами сухими «вчера»
тянется к злему «сегодня»;
это – на нотную льётся тетрадь
красный густеющий отсвет
фото, проявленных где-то потом,
скопом, во льдах заполярных,
между раскрытым от ужаса ртом
и ненакрытой поляной;
это – влетевший в окно скрипача
мяч, окровавивший скрипку;
больше мячу – не заснуть, не смолчать,
скрипке – звенеть, но не вскрикнуть,
гласной врываться в больничный уют,
в сладкое пенье согласных,
чтобы в палате косились: поёт
сквозь воспалённые гланды;
чтоб удивлялись: мол, машет при всех
снимком двойного пенальти, –
и на январский бунтующий смех
голос молчанья финальный
лёг, будто на воду – тонкий ледок,
но, поманив по бедовому следу,
ни дураков от побед не сберёг,
ни дурака – от победы.

В никуда ниоткуда несётся листок,
щедро траченный молью, посыпанный солью.
Это я к вам пишу, совершенный никто,
человек из подполья.
Выползаю из принтера горным ручьём:
как ты в царстве своём, кто с тобой, что почём.
Завершаю – с любовью и болью.

Отвечает княжна: я уже не княжна,
я хочу быть больна – и отныне больна,
и нелепа для всех, и богата.
Шутовской колпачок, на глазу гнойничок:
всем дарю свой обол, золотой пяточок,
всех зову в золотые палаты.

Светит яркое солнце в палаты мои,
всюду белые стены да слуги мои,
каждый – с личной несмоченной ранкой.
Дарят олухи слёзоньки-слёзы свои,
заедаем ночами спитые чаи
прошлогодней нечестной баранкой.

А в награду за сушки, за грешный базар
получаю от них тайнослышанья дар:
вот, подвинулась к Богу поближе, –
завтра будет потоп, а сегодня пожар,
послезавтра – поход неразумных хазар.
Я и слышу всё это, и вижу.

Так что мимо ступай, да подальше ягдташ.
На барометре этом – Великая Блажь.
Не пиши мне, забудь – и запомни:
сплошь беда и зима – от письма моего.
Не дари мне упрёков. Не жди ничего.
Хорошо, хорошо, хорошо мне.

шумит головной набалдашник написано восемь статей
пора говорить о бесстрашной такой обжитой пустоте
берущей за жабры плейбоя стоящей за правым плечом
велящей чтоб только собою он был до конца увлечён

плейбой пустоты не боится он с нею во френдах лихих
обоих накроет поимка в каком-нибудь беверли-хиллз
на месте без резких движений шаг вправо шаг влево побег
гнездо под напевы диджеев совьют на ближайшем столбе

запишут в герои обоих слетятся как мухи на мёд
наутро небесный таблоид убористой шапкой сверкнёт
и ангел уснувший за левым вздохнёт почему не плейбой
лежал бы в могиле за лесом в обнимку с пустой головой

в загробной наверное бурно там солнцем залитая стрит
а нынче сквозь сон беспробудный он снова кого-то хранит
и видит в кошмаре добротном сквозь полночь сквозь порох и дым
уходят колоннами бодро
один за одним за одним

Трамвайные голоса

I.

Говоришь мне и говоришь,
что-то важное говоришь.
Шишел-мышел, остёр, зубаст, –
я не верю ещё, ещё.
Задыхаешься, на бегу
мне правдивое говоришь:
ты – пустышка, не будь, умри, –
я не верю ещё, ещё.
Нет, ещё я не вышел вон,
не истратился, не иссяк.
Есть билет в прицепной вагон,
на дорогу – один пятак.
А вокруг тебя – сплошь ворьё,
ты как зеркало, зер-ка-ло:
крив, нечестен, лицо твоё
нервным тиком искажено.
Так выкрикиваю в глаза:
мне пространство подчинено,
мне и время подчинено,
заодно, за-од-но мы с ним.
Смех да смех на лице его,
страх да страх на лице моём.
И заскакиваю в вагон
да помахиваю рукой.

II.

Ах, иссяканье творческого импульса!
Ухабы, кочки – Боже, помоги! –
пускай обоз немножечко продвинется:
сегодня мы с хозяином враги.
Рули-рули, заедем за окраину,
ну, повернули, – щука, лебедь, рак.
И я грублю хозяину, хозяину –
всё это пустячок, такой пустяк.
Ах, нету ямщика, моя повозочка,
помощника бы, дядечку с кнутом.
И я грублю, как ломовая козочка,
на ломаном, козлином, на родном.
Вот умничка, а выйдет с маслом Аннушка –
я отцеплю вагончик, ай-лю-лю,
достану ножик, а пока по камушкам
come on, везу-везу, грублю-грублю.

III.

Не поучай меня без надобности
с апломбом резвости и гордости.
Ты понимать устанешь к молодости,
так наслаждайся тем, что в старости:
необозримой кровью-ранушкой,
озимой рожью – ранней кровушкой,
дурман-травой – трамвайной Аннушкой,
и дуралеем – шельмой Вовушкой.
А если – хватит петь, – покажется,
а если – хватит жить, – захочется,
ступай, ступай за новой травушкой,
выращивай, моя пророчица.

Не настигай меня, как нынче настиг,
едва дыша, хватая за плечи.
Не постигай меня, ты слишком постиг,
храни в святой неприкасаемости.
Бывало, вскочишь на подножечку:
готовьте, граждане, билетики,
протянешь, отдохнёшь немножечко,
а нынче – погляди в окошечко:
всё турникеты-турникетики.

*я по секрету между нами
тебе вот так скажу-скажу
под голубыми небесами
всё время езжу и жужжу
и вижу злую пассажирку
что тоже ездит взад-назад
у ней билеты под копирку
всевидящий и умный взгляд*

*мегера тётка-ветеранша
смешной беретик трубный глас
как я её не видел раньше
так не замечу и сейчас*

*и вот за это невниманье
о бедный смертный неофит
она сама тебя поймает
сама тебя вознаградит
артритным пальцем погрозит*

IV.

экзамен проваливший центровой
куда-нибудь но только не домой
сойдёшь на кольцевой на дождевой
и кто-то осторожный за тобой

ты перекуришь в арке под дождём
сквозь пустоту опишешь дальний круг
ускоришь бег рванёшь через забор
и кто-то осторожный за тобой

и кто-то нехороший за тобой
он горько рассмеётся над тобой
закроешь дверцу скроешься сбежишь
он тут же зарыдает о тебе

V.

сбегутся бегуны и лётчики слетятся
все ждущие пройдут невыразимый путь
я к твоему плечу не в силах оторваться
когда-нибудь склонюсь когда когда-нибудь

я кровь и боль и стыд от рук твоих отмою
и посажу к ногам терновые кусты
я светом осиян и солью неземною
зачем не слышишь ты опять не слышишь ты

а всем кто не прошёл дресс-код в моём ковчеге
я молча прикажу беречь твой чуткий сон
смотри как в темноте скворчонок и кочевник
стучат колёса глухо
качается вагон
качается вагон
кончается вагон

Заberi на память обо мне
что-нибудь из будущего бурного:
дѣготь от увязшего во мгле
коготка избушечного курьего;
над трубою – винстоновский дым,
в небо высоко летят круги его;
у порога дерево одним
местом повернулось – хоть руби его,
хоть вертись по компасу за ним.
Всѣ одно: негромкий статус кво,
домофон, три цифры на пентхаусе;
не ищи там больше никого –
все в цвету, свету, в гранитном хаосе
подберѣзном, – кроме одного.
Вот его держись: как жизнь, кривой,
он спешит, когда вагончик тронется.
А когда пора сорваться в бой, –
выведет героя – и укроется;
выщелкнет его перед собой, –
и отходит гибель, как бессонница,
минной полосой береговой.

не на рожон пора на дно
подальше дальше от
в эдеме выбито окно
сворован лучший плод
но стёкол некому чинить
учитель-стеклодув
сорвался с древа ученик
и кажет хищный клюв
он к сердцу яблока приник
свистящей тетивой
а стеклодув лишь скорбный ник
провидит сетевой
там грозный профиль отражён
а ты сражён адью
я пью за злую жизнь мою
и за тебя я пью
за взломанный рай точка ком
за свет в конце пути
за стёкол хруст под каблуком
согретых на груди

Приучи меня к речи неправильной,
злым глаголам, плохим новостям.
Научи без обиды несправедной
вслед глядеть уходящим гостям.
Накаляясь, расшаркнуться весело,
отдавая в прихожей ключи:
этот, средний, – на шею повесь его,
пусть хранит в неизменной ночи –
от хандры, от сезонного месива,
сглаза пёсью, чёрт-те чего.
Ты о счастье, мне помнится, грезил?
Я тебе возвращаю его.
Этот крейсер – бумажные нолики
на расчерченном поле морском.
Он меня не спасал ни на толику.
Это тост – за разграбленный дом.
Вы с ключом – в оглушительном сговоре:
притворялся один, что гранит,
а другая – бегонией комнатной
за гардиной фальшиво стоит.
Затаила усмешку, не морщится,
посылает сигналы со дна, –
мармозетка, трёхлетняя спорщица,
вся до тапочек белых видна.

Обретший свет

I.

Свет, упавший из тишины дворов,
человек, заблудившийся на пути к себе.
Если это песня, – сыграй, будь хорош,
на солёной дудочке, ледяной трубе.
Балалайку, струнную тишину,
леденцовое «дай закурить» на пути во тьму.
Две беспалых симфонии сигарет.
Если нужно – я всё прощу, никого не пойму,
как разучившийся радоваться ничему –
и тут же обретший свет.

II.

Свет путеводный, горбун, деревянный фонарь.
Свет путеводный на зимней дороге.
Падает, падает боль в ослепительный ларь, –
пусть возродится немного.
Перекуётся, вольётся, что твой электрод;
вспомнится снежная морось, бараки Кыштыма.
Женщина в красном, смеющийся рот
соткан из меди и дыма.
Дыма и меди, и дыма, и меди опять;
там начитаешься нервнобольного поэта,
речью солёной захочется перехворать.
Больше не будешь здоровой, спасибо за это.
Будешь больная, пускай же настырно болит;
голос дрожит – но молчишь с интонацией твёрдой.
Больше не будет ни слов, ни словарных обид,
только с мороза – бессловные полные вёдра.
Только пристрелы к затвору – но нет, не затвор;
корка на кромке ведра – но никак не водица.
Песня плохая из детства – *не-детство* само.
Пусть никогда не родится.

рельсы сходятся реки расходятся
смерть на полке как дева ничком
в бесконечное зеркало смотрится
пассажир на излёте ручном
наступая промокшими стопами
в сон подобий дошкольный режим
что он видит блаженный утопленник
жарким зреньем щитом жестяным

сад свинцовый стреляющий бликами
бьющий в цель ни пройти ни присесть
в безр-шева могилу великую
заводные свои тридцать семь

глупым слухом размытым и сломленным
что он слышит сквозь глину и пыль
слева гулкие зёрна бесплодные
справа окрик упасть и не быть

что осталось почуять по запаху
пункт конечный надежд и причуд
докатиться и замертво за-мерт-во
в порученья последний приют

У взрослой игрушки – рассерженный вид:
лепной пустячок, пароходик,
но – нервная песня во чреве звучит,
но – дробная стрелка у трапа стучит
и места себе не находит.

Секунда – запрыгнуть и век скоротать,
к земле пригибая качели:
воспой же, обиды простой карандаш,
цветастый гербарий прощенья.
Направо – расчертишь белеющий флаг,
налево – затянешь руладу:
мы тоже из тех, кто желал ваших благ,
кому их и даром не надо –
ни всходов озимых бегущей строкой,
ни куколок, брошенных наземь,
ни шатких словес простоты воровской,
слепившихся в быт коммунальный.
Не ладаном заняты руки молвы,
но – пряностью слов непечатных;
я тоже из ваших, идущих на «вы», –
так спойте весёлое что-то, волхвы,
о нашей сердитой печали.

Вот идёт дровосек осторожно по минному лесу,
от гранитных шагов разбегаются тополь и клён.
Дровосек состоит из сочащихся кровью надразов,
правдорубских катренов на теле железном,
из подлеска неприбранных коек и съёмных имён.
Дровосек состоит из подъездных паролей и явок,
из облупленных фото и взорванных братских могил;
раз пройдёт – открываются чёрные ямы,
два пройдёт – возвращаются старые язвы,
и сверкает из рубленных крон полустёртый винил, –
и поёт, и ему откликаются в такт мостовые,
поджигаются сами собой под загадочный стук.
Раз удар топора – и заводятся песни блатные,
два удар – зацветают цветы неживые
и танцуют кресты у постелей случайных подруг.
А потом – ничего: обрывается страшная плёнка,
замолкает мелодия вальса, но спят облака;
только авторов музыки в титрах почтят поимённо,
только сполох сверкнёт самолётный, и пахнет палёным,
и в заросшую рану ложится чужая рука.

приходи устать от меня вдвоём,
поиграть с погасшим вчерашним днём.
разожги обычный, не мировой
или просто постой за моим плечом.

я опять последний в огне, в окне,
непонятен всем, а себе – вдвойне.
пью расколотый свет ледяной десной,
говорю не о том. о том.
по одну – умирают мои слова,
по другую – немеют мои дела.
в центре – всех пугает моя стена,
только чудом не снесена.

совпади со мной, проруби окно,
проруби окно – прорасти крыла.
видишь, сдуру солнечная гора
всю прихожую обняла?..
говоришь – проглотила – сожгла дотла,
говорю – прорастила – и умерла.
мне с какого-то времени всё равно.
вот такие мои дела.

всё равно, о ком, только в сердце ком.
а не веришь – войди и замёрзни в нём.
новый день кончается. год идёт.
застывает в окне моём.

что ты солнышко ищешь во мне упёрто
теребишь фэйсбучишь по пустякам
хочешь знать как живу шелестит обёртка
надувается бабл-гам
всё глагольней воздушней всё тоньше стенки
чтобы ломаной спицей легко проткнуть
закурить доиграв до финальных серий
и о мыльном легко всплкнуть
а покуда не лопнет моя игрушка
всех туда запускаю по одному
был один уверявший в загробной дружбе
посвящаю пузырь ему
всем другим не сдержавшим тяжёлых линий
не прошедшим и полпути
станет розовым шарик зелёным синим
как он тает гляди гляди
как предсмертно меняет свою орбиту
будто хочет ещё лететь
разве с этим сравнится твоя обида
и смешное поверь в людей
как на стёклах прозрачных сияют блики
усмехается медля прицел иглы
и внутри задыхается в страшном крике
не понявший моей игры

что ты чахнешь свергнутый королёк
за окном твоим – гранатовый сад
висит гранат – человек растёт
упал гранат – человек убит

что от гнева в картонном дрожишь миру
в королевстве твоём – триста лет война
пыль смахнёшь – оловянный упал солдат
с кушетки твоей на больничный пол

*никого я больше не узнаю
кто упал кто пропал кто ещё со мной
только зубья картонной короны моей
в паутинном дрожат углу
да болезненный брат у белых дверей
скалит зубы грозит кулаком
говорит на неведомом языке
да сестрица порой у высоких врат
ожидает в белом и голубом
говорит на ласковом языке*

*я их помню из прошлой жизни они друзья
все ушли а эти остались тут
за руку берут подсыпают яд
говорят на гранатовом языке*

*а порой обнимаемся плачем поём
над блюдом с гранатовой кровью поём
под взрывы в моей голове поём
на праздничном языке*

*об оставленном королевстве поём
о сгоревших дотла городах поём
луч сияет на белом его плече
луч сияет на белом её плече*

Отходной гудок

I.

Фрукты-яблоки, шелест ночных гостей,
жёсткий холод больничных ламп.
Тишина в горсти – на мою постель;
уходя, не попомни зла, –
по моей руке, по косой стене
вдоль окна – прорастая вниз;
ибо только сегодня открылось мне,
ты ушла – и открылось вмиг, –
будто нет забывших меня людей,
потерявших меня вещей,
ни хромых дверей, ни дурных петель,
никого, ничего вообще.
Я уронен был и разобран для,
поднят над и оторван от.
Проплывала точкой внизу Земля –
я блаженней не знал высот.
Я собой ощущал перестук в листве,
легкокрылый полёт свинца;
всё, что видел я, – бесконечный свет,
тёмный свет одного лица.

II.

Мне виделась тайна, но как бы без дна,
но как бы без рук и без ног.
Она не могла по-иному предстать
в детальном порядке земном,
поскольку – полёт, ослепленье, удар;
рыдают, куда-то везут, –
всё спутала память, но помню, когда
земля оказалась внизу.
Внезапная лёгкость по обе руки,
бескрайняя даль белизны;
под ней – очертанья неясной реки,
но видимой чётко страны.

Внизу хохотали, варили уху,
ловили убийцу толпой;
я точно не помню, я шёл, как по мху,
по небу нетвёрдой стопой.

III.

Я с неба сошёл, я спустился к реке,
мне вышел навстречу рыбак.
Он мне говорил о прозренья в грехе,
о том, почему я упал.
Я рот разевал, чтоб сказать обо всём,
он жестом велел: замолчи,
я ведаю лучше о горе твоём,
чем все записные врачи.
Я знать не желал, я смертельно устал,
не надо про горе-грехи –
и он величавым перстом указал
на блюдо горячей ухи.
Вдали надрывался гудок отходной,
летел самолёт над долиной речной,
и ангелы ели и пили со мной,
смеялись и пели со мной.
И старший из них, обращаясь ко мне,
поднял наставительно перст:
«Что отнято было – вернётся вдвойне,
другим обернётся тебе.
Тебя соберут, по частям разобрав,
опять разберут-соберут;
изгонят, осудят, – но будешь ты прав
для вечных бессмертных минут».
А дальше опять – полутёмный провал,
больничные вспышки огня;
там свет леденящий меня прозревал,
и боль обретала меня.

Когда зелёное кино
идёт-гудёт по залу тёмному,
и океанский звон ушной –
замена слуху повреждённому
(а я тот звон за три гроша
у дурака-туземца выменял), –
на красный свет гуляй, душа,
вразвалочку по стрёмным линиям.
Взглянув уже с той стороны
экрана на дела трамвайные,
она сметёт из головы
в сторонку почести случайные;
великосветскою метлой
укажет место в бестиалии
*(из списка вон – и с глаз долой,
чтобы о нём – ни слова памяти)*;
протянет в кассу горсть банкнот –
свой откуп за меня иудливый –
и, как безумный полиглот,
в последний раз ночную улицу
с *того* на *этот* перейдёт.

II

Из цикла «Письма перед отъездом»

Всё смешалось теперь, и не страшно, что нет людей,
а в ночи соловей поёт, и цветёт репей,
и не жалко в ночи ледяной замёрзшего соловья,
ибо жизнь у него – своя и песнь у него – своя.

Всё сместилось куда-то вбок, и неясно, о чём трезвон,
только небо короткий срок отмотает, как честный вор,
а у нас – Божий пир кругом, райский сад, и в карманах медь,
и, пока нам грозят судом, перепрятать бы всё успеть.

А у нас – полон дом гостей, всех одарим едой, тряпьем,
только посвиста в темноте, золотого сигнала ждём,
ждём указа, кому дарить, а кого – убаюкать сном,
с кем бесстыже заговорить на весёлом и неродном;
на убой подманить кого, а другого – свести с пути,
в темноте различить письмо в мелких блёсточках конфетти.
Пестрядь – нотная звукорядь, а над садом – гранёный звон,
это реки уходят вспять, и имя им – вавилон.

Значит, выпьем за скорый суд, за ночной разорённый сад,
скоро зеркало поднесут, и в него обратится взгляд.
И увидим лицо в огне, и согреется соловей,
и Твоя долетит ко мне, и станет равна – моей.

Роману Мичкасову

Остывает разлитое солнце над миром-таверной,
и в лакуны, открытые смеху и прочему ветру,
как устроенный чудно песок, осыпается смерть равномерно –
из простой красоты, из ненужности, из ничего.

Там смеются и пьют ркацители ушедшие братья,
и, оплавав над ними своё, та, что всех виноватей,
позабыла о мире земном и взбивает кровати –
из простой красоты, из ненужности, из ничего.

И, спускаясь на сон перьевой, на пуховое эхо,
льётся долгая кровь – никому не вина, не помеха, –
и на страшные ноты ложится легко и умело,
на ненужность простой красоты, говоря: ничего, ничего,

ничего, ничего, это сладость и польза для слуха,
это цели, гражданские темы, народ и эпоха,
не печалься – и вторит живое, к ушедшему глухо,
продолжая сквозь воск разлеплённый своё торжество.

Мне в широкую скважину слышатся пьяные споры,
что-то там про вино и стакан, содержание и форму,
и бесплодная рана пускает цветущие корни:
открывается дверь, где идёт без меня торжество;

там, при жизни, не ценят меня (а при смерти – бранили),
но теперь всё равно: я себя не ценю вслед за ними,
осветляюсь и смехом, и плачем – и пью вместе с ними
из простого стекла, из ненужности, из ничего.

В сердце, Леночка, нож карманный,
а в кармане – напрасный стыд.
Хочешь – слово подставь иное:
смысл незыблем, как пьедестал.
Это что-то сродни туману:
лезет, лезет, в глаза глядит,
неотступной грозит виною,
посмотри, говорит, кем стал.
А ведь мог бы такое сделать!
А ведь мог развернуться так!
Но лежишь на печи три года,
бесполезнее, чем репей.
Лена, эту стальную стену
не пробьёт мой шальной кулак.
Ты же помнишь меня другого –
молчаливее и грубей.
Как спешил, опоздать пугался,
ощущая вблизи предел.
А теперь ни огня, ни града
не боюсь – но предел внутри.
Потому что огни погасли,
град полился – и отшумел;
те, кто были недолго рядом, –
разбежались на раз-два-три.
Им спокойно сейчас и глухо,
им легко без меня теперь.
Лучше так, чем стоять под дулом
оглушительного стыда.
Смерть, не слушай меня, старуха, –
я же всё это не тебе;
то, что звал тебя, – было сдуру.
Время, слушай меня сюда:
дай мне годы труда и муки
в наказание за этот стыд,

за словарь, что пленён обидой
и покорен сейчас не мне.
Не сверкнёт в огранённом звуке,
новых смыслов не породит,
а лежит с апатичным видом,
повернувшись лицом к стене.
Отлежавшись – к суровой прозе
он потянется как пить дать,
ибо только она способна
эту бездну вобрать в себя.
Время, дай мне костюм по росту,
дай мне с тяжестью совладать,
никому не мешая зовом,
лишним грузом не теребя.
В сердце, Леночка, стыд туманный.
Это, Лена, обидный стыд.
Больно колет, напрасно гложет,
Атлантидой со дна растёт.
Рядом времечко – нож карманный.
Тот, кто им с высоты грозит,
очень хочет убить, но всё же
передумает – и спасёт.

Памяти Бориса Рыжего

Я ещё подпаду под твою интонацию, мелос,
как с дождливого поезда – прыг – позади города:
все банальности, кровь-нелюбовь переправлю за смелость
умереть сумасшедшим всегда и весёлым всегда.
Как хотелось, чтоб музыка суицидальная,
как по зёрнышку – тропочка хрестоматийная,
интонация нервная, исповедальная,
как по насыпи – девочка полудебильная.
Всяк попутчик – запечный сверчок для темнеющей речи:
только топливо. Дробные стуки о край стакана.
Позади остаётся страна: всё далече, далече.
Всё скучает она, всё кого-то ревнует она.
А о ком, а о ком – знает память голодная,
от беды и ума совершенно свободная:
шаг налево – откроет Америку,
шаг направо – устроит истерику.
– Ничего, успокойся, – шепчу, – это насыпь, открытая рана,
я под ней умираю во рву, но губами лежу шевелю,
повторяю два слова, журча, как вода из-под крана:
умер, умер, люблю – тишина, – умер. Умер. Люблю.

Кыштымское

Александру Петрушкину

I.

Меня хоронили в любовном моём огороде,
и знак бессоюзия – камень – стоял надо мной,
и трижды весталка сказала: нас нету в природе,
порезала хлеб – и меня запретила в природе,
мой лоб очищая от накипи пресной, от славы земной.
Фальшивила флейта, и дева плясала с другими;
толпа отрекалась в онлайне словами чужими:
мол, выглядишь гордо, браток, да нескромно поёшь;
тебя призывали к расплате за честное имя,
неверное имя, смертельное имя моё.
А огненный марс улыбался с открытки, хмелея,
во рту обнажая до жути спокойный свинец:
«Вон тот, всенародный, – он вешался трижды, чудак, на своей батарее,
а этот – он с первого раза. Пацан молодец».

II.

сладко плакали вещи и плавилась вещи,
набирая воды в окровавленный рот;
девушка в хоре кыштымском пела под вечер:
ты не вернёшься из боя – а впрочем, как повезёт;
на огородах важных солнце дрожало,
на горы синие волнистый пал туман;
друга последнего в дальний путь провожая,
высился красный камень – обсидиан;
ехала в поезде Катя с цыганами,
повторяя моё про ледяную трубу;

*божья дудка, молись обо всех заблудших
божья дудка, молись обо всех уставших –
не на счастье – на медленную беду*

и не знай, не знай никогда о вложенном,
о тех, кто поставил стеречь обнажённый сад.
отдохни, а потом запевай как не положено.
отдохни, а потом – начинай, как придётся.
там за тебя разберутся. распределят.

Если станут биографы время искать в дневниках
для надутых портретов и пухлых лихих диссертаций,
подскажи им, пожалуйста, чтобы не смели соваться
в эти бредни терновые, мой утопический страх,
в эту трясую пору, где мне девятнадцать и двадцать:
я им сам расскажу и все карты оставлю в руках.
Истекающий клюквенным соком естественной речи:
господа, налетайте, читайте, не стоит бояться.
Будет капелька мифа, чуть-чуть мемуарного глянца.
Нерождённые дети. Убитые судьбы. Невстречи.

— Эй, звезда, посмотри-ка, не видно ль в потомстве следа?
Ну тогда подчини всё тому, чтоб не зря умирать,
чтобы влага не смыла с плиты рукотворное имя.
Память выбросит слайды: разлитая в небе беда,
раздражённая просьба — о времени и о себе.
Мы шатаемся праздной толпой по июньской Москве.
(Если олухи годы спустя не поленятся нас изучать, —
подскажи им, пожалуйста: пусть вспоминают такими).

Рома М., Света Г., Лёня З. (мы чуть позже поймём,
как слова заменяемы, как совпадения случайны).
А пока нас кривая ведёт от распаренной чайной
прямо к дому поэта, увитому диким плющом.

Рома М. говорит, сигарету приблизив ко рту,
почему, мол, поэты такие в быту, как в аду,
нервно лгут, сквернословят, ругают коллег.
Я, плечами пожав, бормочу лабуду, ерунду,
что поэту диктует, мол, голос по сторону ту,
что поэт, мол, иной человек и, вообще, не совсем человек.

...Я не знаю и нынче. Вопросы, ответы, вопросы.
Вечер дышит на ладан. Уносится дым папиросы.

Мы расходимся: Питер, Китай, полюса-направленья.
Переезды одних, переезды других, перемены во мне.
Подтверждается фраза из давнего стихотворенья,
что ни с кем, ни о чём и, наверно, не в этой стране.

Я стою, провожаю-встречаю – такая работа:
понимать, раскрывая объятья: опять никого там,
как горластое чадо, баюкать обиду свою...

...Если всем нам задумают памятник нерукотворный, –
придержи мне, пожалуйста, место на самом краю.

Птенец картонный

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переименовал все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно себя узнают, и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

*М. Лермонтов. «Герой нашего времени».
Предисловие к журналу Печорина*

Памяти Айгуль Исламбековой

I.

и вот мне приснилось что сердце моё не моё
не светится лживым зелёным окошком фэйсбука
не ждёт в темноте соглядатаев подслеповато
и спицы и спицы в артритной ночи теребит
а едет в прожаренный город сквозь свет безнадежный
крикливо толкается в поезде номер неясность
и снова и снова умеет болеть

и вот мне приснилось что всё впереди впереди
у сердца принявшего враз грациозные формы
вокруг толчея в подозрениях пенится пиво
не могут понять кто ты есть и зачем родилась
а шаг оступилась и вещи съедает и мебель
и платье жену и всё кроме страха войны

*ну что развалились гражданка сидите спокойно
никто не бывает неправ и никто ни при чём*

II.

В три года с подоконника уронен,
в четыре – вещей придурью отмечен, –
живи, живи, картонный мой уродец,
ты будешь мне поддержкой и отменой.
Тебя я сделал из того, что было,
чуть-чуть – из детских комплексов и фобий.
Ты будешь мне заменой и могилой,
и образом, и смертью, и подобьем.
Я в каждой речи – как перед мартеном,
томится покаяние по трубам, –
а ты расскажешь *этим о вот этом*
на языке торжественном и трудном.
Расскажешь о таком невыразимом,
с таких низин, что рты пооткрывают;
вперёд, вперёд, мой неудачный снимок,
дури их всех, картонный акробатик.
И вот уже не я, а ты по краю
идёшь, – но всех, что это я, заверишь;
легко отжившим сердцем поиграешь,
на новое, картонное заменишь, –
и упадёшь в траву птенцом подбитым.
Вот вздрагивают худенькие плечи,
а я шепчу: прости, так было надо,
а я шепчу: прости, так было поздно,
я время поверну, живи, не падай.
Но ты в крови лежишь картонной куклой
и взглядом с непридуманной обидой
мне, дурню, наказание пророчишь;
предателю, – предсмертное лепечешь.

III.

ну чего ты опять не о главном давай по главам
свет стоит опираясь на посох движеньем плавным
наставляя на тьму колчан
путь лежит освещённый дразня что не будет пройден
этой ночью меня убили в саду напротив
ты всё видел и промолчал

*я писал детектив пролетая вдоль синеморя
размышлял из какого расти ему невермора
ан сюжетец и в нём изъян
ты стоял у меня на пути принцеват и свергнут
освещаем внизу дорожным лучом а сверху
смертью облачной осиян*

*ясно было что не жилец по-иному бледен
средоточье допросов слёз экспертиз и сплетен
было карму не побороть
а когда убивали тебя в три охапки света
чуть качнулся мой глобус как бы тебе на смену
новый фабульный поворот*

*говорили мне что не стоит грустить об этом
ни об этом писать да и вообще об этом
я издал свой роман-бабло
а вчера у меня попросил закурить прохожий
и скользнуло в его лице холодком по коже
что-то виданное давно*

*что-то было во взгляде с укором его такое
что-то нынче и в голосе хриплом твоём такое
хрен избавишься от вины
пролетая грозишься крылышком распростёртым
отражается небо в чумном корешке потёртом
и страницы темным-темны*

У причала рыбачит ночной гармонист,
подплывает краса-панихида:
ослепительный голос, чешуйчатый свист,
по бокам – золотистая свита.
– Ой, пойдём-ка со мной, панихида-беда, –
раздаётся гармонь белозубо.
Отвечает краса: не пойду никуда,
я – звезда, подневольная рыба.
Я в реалити-шоу, я в шаре большом,
в жарком чане, космической бане.
Низко об пол стучит целлулоидным лбом
теневая моя, теневая.
Раз – молитва – поклон, два – молитва – поклон;
бьёт удары за меткое право
стать одной из монро, стать второй из мадонн, –
да не выйдет ни цента, ни грамма.
Ибо розданы роли, сверкает ремонт,
разливается газ веселящий;
пробирается луч золотой непрямой
на коробки, столешницу, ящик.
Раздражается кисть, занимается свет,
веет с моря ночная прохлада;
всё забыто-закрашено, прошлого нет –
и не надо, не надо, не надо.

Екатерине Перченковой

Человек погибает, зажатый тисками поэта;
от него остаются две порции здешнего света,
здешних записей файлы и здешнего мира поступки
и судьба как судьба – по ранжиру, шеренге, по струнке.
Человек, погибая, даёт направление течению,
обретая в награду неведомый голос пещерный,
звук тончайшей струны, пластилиновой флейты упорной,
где – не чижик с фонтанки, но – в клетке проросшие зёрна
сквозь железные прутья; но – блюдо с водой сквозь безводье;
сквозь безлюдье – мелодия неба в плохом переводе.
Звук сбивается с такта, в слова попадает некстати,
и погибшая птица встречает: come on, everybody,
go home, беглянка, – но флейта уже за кордоном;
человек, погибая, даёт отсечение закону,
пластилину – полёт, звук вступает в обратную силу,
чисто-чисто поёт, презелёный кружит синий-синий.
Только видно, как в небе сдувается шар белый-белый,
убыстря разрыв между музыкой, словом и делом.
А другой остаётся – тоской по железному дому,
нарушая покой, запрещая судить по-земному.

Днём облачным, а ночью – огненным,
и днём и ночью – болевым, –
веди меня водой и оловом,
прямого, – трудным и кривым;
не умолявшего о помощи,
огонь державшего в груди, –
ареною веди и обручем,
кнутом и окриком веди.
В труде и трауре держи меня
вдвоём с отправившим на крест;
последним сборником прижизненным
оправдан пафос тёмных мест –
и нет вернее оправдания;
тяжёлым шагом сдавлен грунт;
всё зная о долгах заранее –
не прокляну голгофный труд.
Опутав сетью виноградною,
прощеньем ясным, как ремнём, –
веди не холлами парадными,
а тайным ходом, чёрным днём;
подслушанным, а не подсказанным –
на звук последний, на костёр,
чтоб острым жженьем слово каждое,
как раздвоившийся актёр,
себя казнило между сценами,
в молчанье мучась и светясь,
и в рассечённом пело целое,
а в целом – отречения связь.

Серафиме Орловой

вот любовью летит самолёт навьючен
в голове у пилота секретный ключик
им легко открывается чёрный ящик
и выходит на старт человек поющий
уверая что истинный настоящий
достаёт мандолину поёт о странном
про любовь про весёлую оклаходу
кукурузное ранчо большую рану
приближаясь в полёте к себе живому
где-то зарево реет и флаг трепещет
слепнет маленький бог в окуляр глядящий
развеваются полы одежды вещей
и нисходит на мир белый свет летящий

*— я, — говорит, — из последних последний
зачем тебе моё сердце степного волка
и тоненький-тоненький голос на дне колодца
руку протянешь не вернёшься заледенеешь
не отнимай моё ранчо лети обратно*

по звёздному трапу спускается маленькая гермина
разбивает небесную мандолину обрывает песню
к чёрту твоё ранчо и оклаходу
к чёрту твоё сердце степного волка
протягивает руку на дно колодца достаёт голос
рассматривает на просвет
держит не отпускает
держит не отпускает
держит
не отпускает

ты хотела криэйтора девочка
циркача силача исполина
супервайзера личного лётчика
но не тех берегла и молила
лишь под вечер в увядшее темечко
чмокнул боже вперёд магдалина

так летим же мы сокол и ласточка
мы мудрейшие голуби дарлинг
не верёвка на горле а ленточка
новогодняя завязь подарка
дурим змей как последние дервиши
проверяя корзину на верность
и уже не заметить как бережно
с глубиной поравнялась поверхность
снова белым выводим на аспидной
будто это не ты постарела
а герой отделился от автора
разлетелись ребёнок и тело
сердце ноет на месте предсердия
поменявшись в партере местами
и двойник в апельсиновом зеркале
обещает отвязную старость

Когда человек умирает,
остаётся его ЖЖ.
Человек умереть решает,
но смерть невозможна уже.
Он не знает, что смерти теперь не бывает.
Подзамочная запись тихонько мигает
глазом-ягодой в диком саду.
Это свыше душа за тобой наблюдает,
изменяет свой облик земной, подправляет,
отдаляя его на ходу.
Где-то трещинку вычертит, где-то морщинку,
незаметно подменит бревно на соринку,
молча выберет ракурс иной.
Из груди вырывается сдавленный коммент:
как же так, мы же смерти не ждали такой вот –
только жизни. И только – живой.

...Когда человек умирает,
изменяется его ЖЖ.
Он просто не отвечает,
во времени застывает,
твердеет, как рана в душе.
Нет тебя с сентября. Боль грустит-поживает.
Пусть растёт пустоцветом, большая-большая,
в темноте, в тишине, под замком.
Я читаю твой постинг – последний, случайный.
Смысл уносится в небо, становится тайным.
И хлопочет незнамо о ком.

III

А я уже там, где никто не поможет.
Но ты повторяй,
повторяй,
повторяй...

Ольга Седакова

Герой с мировой возвратился пешком,
с нецарским двором, непобедным флажком,
с постыдной дырой оркестровой,
залатанной косо в делах и в бегах,
с нелепицей зренья на влажных устах
и песней на бельмах бредовой.
Неузнан, кивает: вон тот – это я,
беззубую пайку ломая.
Не тех ты гнала, дорогая моя,
ждала не того, дорогая.
Я зренье отныне двойное твоё,
твой голос протяжный отныне,
твой хлеб, обожжённый с обоих краёв,
Творец, возмечтавший о сыне.
Меси мне огонь в домовитой груди,
а вместо ребёнка на плечи сади
нестрашного зверя ручного,
чтоб виделся свет у него на пути
и верилось: всё впереди, впереди –
и тяжесть, и память, и слово.
Чтоб эта меня убелённая речь
прогрызла – а ты не смогла бы сберечь,
о праведный бэйби спартанский.
Дыра зарастает. Оркестрик поёт
о том, что никто никогда не умрёт,
никто никогда, никогда не умрёт.
...Возносится камень – и стёкол не бьёт.
И двор отражается царский.

У меня мукомолка – под левым ребром,
муравейник – за правым плечом,
а под левой лопаткой – невидимый дом:
заходи, не стучись ни о ком.
Если сложится всё и не дрогнет рука,
будет сито полно до краёв, –
ты услышишь, как мелется крупно мука
из моих дураков-муравьёв.
Долго лопасти в свете поют просяном:
с пылу с жару – печаль, а над мельницей – дым, –
об ушедших, овеванных долгим трудом,
о пыльце по плечам трудовым.
Перемолотый свет, костяное ребро.
– Не тужи, – шелестят жернова, –
семь хлебов, а кутить вам теперь вшестером, –
и сидит моя голова.
Всякий знай свой шесток, муравьиный приют,
а над мельницей – дым, а за мельницей – дом;
как уходит шестой, так и эти уйдут.
Нам теперь пировать впятером.
Сложим бережно песни в десяток корзин,
шире шаг – от нахлебников прочь.
...У меня этой ночью рождается сын.
Долго длится рабочая ночь.

Колыбельная

Так нынче в комнате светло,
что кажется – темно.
Так сердце от беды свело,
что кажется – в стекло
стучит, выпрашивает пай:
немного хлеба, крепкий чай.
Качаем люльку, баю-бай.
Ребёнок, засыпай.

Пускай приснится тёплый дождь
и добрый китоглот.
У каждого на сердце ложь
и свой к другому счёт.
Ну а с тобой – наоборот,
ты был и есть – наоборот.
Стучи, стучи, базарный грош.
Блаженствуй, обормот.

Ты скоро вырастешь, пойдёшь,
куда беда ведёт.
Ну а пока – напрасно ждёшь:
ушла и не придёт.
Важней всего её покой.
Порядок на душе у ней.
А в комнате – мороз такой,
что нет его страшней.

Там город с тысячей дорог
и люлькой подвесной,
где бережно сопит выюнок –
бесёныш заводной.
Ему назавтра – пир горой,
кастрюлька с меленькой лапшой.
И дивный мир у детских ног –
волшебный и большой.

Это — я почти забыл,
это — я почти заснул.
— Ничего ты не забыл,
не забыл и не заснул.
Только ночью, с горем споря,
из-за гула голосов,
из-за леса, из-за моря,
из кукушечных часов,
словно острая игла,
в час, когда недвижна плоть, —
из-за левого угла
выходи меня колоть.

— А, надеялся заснуть?
А, надеялся забыть?
Не дано тебе заснуть,
не заснуть и не забыть.
Разве что попить немного,
отхлебнуть чуть-чуть воды.
Из-за чёрта, из-за бога,
из-за чёртовой черты.
Раз-два-три, давай играть,
четыре-пять, давай дружить.
Выходи меня терзать,
приходи меня убить.

Мальчик маленький с ножом,
кровь чужая на ноже.
— Поздно, Боря, пить боржом,
восемнадцать мне уже.
Туки-тук, найду везде,
понимаю, с чем играю,
руки бодро потираю,
скоро скроюсь в темноте.

Не успеешь проснуться – пустеешь внутри:
стены новые, город удельный.
Только розовый свет огнестрельной зари,
только розовый свет огнестрельный.
Пропоёт пустельга из тюрьмы золотой
про равенну, разлуку, расплату.
Страшно знать, что сейчас, но страшнее – потом.
Страшно жить. Поскорей бы заплакать.
Не умея меж тем ни того, ни того,
поздно сетовать, поздно учиться.
Оттого-то хибара тебе – не амвон,
и безвольная плеть – не десница.

Не успеешь родиться – уже за бортом:
очарованный странник с котомкой.
Позади – семь томов мемуаров о том
и о том-то, и снова о том-то.
Вновь расчертится карта, завоюет картечь,
вновь скомандует голос хрипатый,
и о берег морской полоумная речь
застучит в типографском припадке.
Но едва ли поймёт, не расслышит она
в этом принтерном гуле приборя:
в опечатки твои прокрадётся одна –
и других увлечёт за собою.

Человек-толпа не умеет сберечь
свой огонь по каплям сторожевой,
потому от огня остаётся речь –
или отблеск речи, едва живой;
потому от огня остаётся прах
никому не обидных лимфоузлов;
вот акын стоит, не умея красть,
вот уже украл, вот – убить готов.
– Сохрани от мрака упавших чад
на зелёном гребне моей волны;
голоса мои более не звучат,
никому мои истины не видны, –
уходя, умоляем по одному;
и ответствен эхо из-за стены:
не слышны твои истины никому,
голоса и дни твои сочтены.
Сцена боя выложена в Youtube –
жаль, пароль в три цифры опасно слаб;
а тебе взамен – голубой костюм
маскарадных слов, безопасных лат.
Потому не слушай моих речей,
лучше осекись на седьмой ступе –
вообще одинок, одинок вообще –
укрощая в груди цирковой напев,
зная – не без боли и со стыдом –
не падёт любимая голова
ни сейчас – и тем более ни потом;
и бренчит радиола: слова, слова.

Лесная драма

Речь сольётся в обрывочный спич,
полустишья – в сплошное «ау»,
и отчаянье – нервный кирпич –
погружаясь в траву, как в молву, –
не убьёт – окружит меж тенёт;
не заблудит – за грех пожурит;
по воде босиком поведёт:
если царь – поброди-поживи –
сквозь неметафорический лес,
сквозь удары израненных ног;
видишь, там, на горе, – нет, не крест,
знак равно: одиночество = Бог.
Ты, сынок, отправляйся за ним,
не мираж – то разрушенный дом,
то стучит молотком херувим
в этом доме сожжённом, пустом.
«Ты херовый и сын, и отец, –
херувим обозлённо твердит, –
зря набрёл на меня в темноте,
вот тебе откупные – иди.
Ни стакана воды, ничего
для тебя больше нет у меня;
ты не трогай отца моего,
землю семенем не оскверняй.
Не голодный ты путник, а вор,
скромный зверь с голоском соловья;
не в симфонию – в ропот и вой
обращается песня твоя.
Пристрелить бы – да залпы в саду
перебудят соседей и мать;
марш со мной – до тропы доведу.
Дальше – надобно ровно шагать».

мимо ушиба течёт безразличье на скатерть
я рассылаю с утра свою душу во аде
льётся айпадовый воздух на пыльный киот
что-то в молчании общем от немости божьей
всё как в рассказе у чехова едет извозчик
десять собратьев не слышат а лошадь кивнёт

тихо плетётся телега цветёт повилика
некому не о чем а потому помолчи-ка
впрочем и так помолчи если будет о чём
нынче ты неуч победный на пёстрой поляне
хлеба отрежешь молчащим и небо проглянет
молча вино отхлебнёт пустоту рассечёт

скажет сурово побудь же в труде и печали
много бренчал ты на ивовых арфах венчальных
много оставил корзин в приозёрных кустах
пеплом по воздуху ценный свой ад разбазарил
имя запомнили все да тебя не poznали
звонкая слава да образ не тот на устах

незачем незачем дальше ты слов недостоин
слушаю страшно что смолкнет а смерть не наступит
толщу пустот над ушибом твоим продышав
но обрывается голос на месте известном
кто ты такой чтобы он попрощался хоть жестом
жеста не будет а ты продолжай продолжай

а в Петербург я больше не хочу
Лена Элтанг

плывёт в родное море рыбица
на полчаса проститься с детством
её встречает возле берега
сто лет прождавший поседевший
в каких краях ты долго плавала
пока я ждал носилась где ж ты
и отвечает рыбка-странница
заморским голосом нездешним

*я в ста морях так долго плавала
от баренцева и до жёлтого
я о себе все годы слышала
сполна правдивого тяжёлого
мне о семи грехах поведали
несметной данью облагали
кого любила больно предали
но не поймали не поймали*

*а те кого не знала от роду
всего насмешливей ругали
там рыбий мой нормальный отняли
держат велели за зубами*

*теперь не слышима не узнана
плыву гортанным кокни-рашн
а после заиграет музыка
чтоб мне её аккордом страшным
насытиться и задохнуться
она в глаза глядит не деться
как немота канатоходца
как дискошлягер псалмопевца*

мне нравится смотреть как умирает боль
отравленной стрелой пока не запретят ей
как бледен точен смел мой королевский гол
и мчится на огонь беда-самаритянка
лети мой мотылёк проворна и шустра
один короткий взмах отеческого дыма
меня там больше нет печального шута
там движется давно другая пантомима
картонный мой колпак мой вечный горноста́й
всё поглотила пыль гримёрочное лоно
на линии беды в небесном ватерлоо
как я любил тебя лети же улетай

а я забыл билет я в облаке застыл
я к образу прирос и облака тасую
на линии огня как я тебя любил
скрипач дурак сверчок ошую одесную
но в облаке кружит иная мошкара
и рой моих надежд проскальзывает мимо
зачем зачем я здесь как долог маскарад
и смерть уже вольна
и жизнь непредставима

Чай, заварка, вскипающий чайник.
В тишине – стук да стук рафинада.
Внешне – правильно, чётко, печально.
Чётко, грустно и правильно – с виду.
Чётко, грустно... Не надо, не надо,
я устал от вечернего быта,
от квартирному тесного ада.
Что-то сбилось. Идёт как не надо.

Этот чай нагревается долго,
остывает устало и душно,
сахар крошится больно и колко.
Хватит, господи, больше не нужно.
Сколько их, ритуалов несчётных,
никакого на смену, на смену.
Взять бы чашку за пухлые щёчки –
и об стену, об стену, об стену.
Пусть летит, замирая на взрыве,
чтоб отчаянно взвизгнуть – и смолкнуть.
Это, господи, жизнь в перспективе,
распластавшая крылья-осколки.
Не достигшая радужной цели,
не сумевшая сбыться, смириться.
Жизнь, которая так хотела
всего лишь летать, как птица.
И глядит в темноту на последнем свету,
не умея ни плакать, ни злиться.

Не научившись жить по чьей-то мудрой воле –
лишь гибнуть по своей – и видеть наперёд,
заглянешь за окно: там вечный дворник Коля
весь дивный этот мир метёт себе, метёт.
Что снег ему, что зной – в треухе неперменном.
Печаль пустых очей, как водится, светла.
Сияй, сияй, дыра у правого колена,
лети, моя листва, мети, его метла.
Мети, мети за всех, кто умерли и живы.
Вот – в клеточку листок, в линейчку – тетрадь.
Такие, оп-ля-ля, гражданские мотивы,
такое вот, браток, умение рифмовать.
Вот сонный мой диктант, примеры-уравнения,
имён безличных ряд и скорый перегон;
под уличный шансон, упорно, муравейно,
движением одним ровняй меня с землёй.
Я так хочу, как все. Смирись, моя страница,
пусть пёстрый на свету сгорает черновик.
Когда б ты знала сор, из коего язвится
язвительность моя, таблетка под язык, –
ты глянула б не так на мой избыток бреда.
Я отойду, а он останется мести,
оплакивать, сгребать и складывать в пакеты;
мне тяжело дышать, но я в пути, в пути.
И рвутся из груди родные -оро, -оло.
Закончен марафет, лишь алый льётся свет
на всё, как быть могло, как будет скоро, скоро,
чему названья нет и будущего нет.

Три года певец почивал молодой
у самого синего моря.
Проснулся – ни друга, ни сына с женой –
лишь хлеб отвечает из глуби печной
да тень золотого помола:
«Продюсер твой спит со звездой number one –
наследницей нефтемагната;
твой спонсор в сиреневый скрылся туман,
а кто обещался быть рядом –
все рядом с тобой в ожиданье легли,
да вот не дождались – и в землю вросли,
остались на выцветших фото.
Лишь голос твой прежний в подземной пыли
с пластинки звучит патефонной.
Жаль, мода-чертовка успела пройти,
не веришь – в соседнюю залу пройди:
там смех-дискотека, там горе-печаль,
вино молодое да синий хрусталь.
Там юные девы – фанатки твои –
две розы да светлое слово
к могиле кента твоего принесли,
другого певца молодого.
Сейчас он очнётся и с ними споёт,
остыть его праху ничто не даёт –
ни смех, ни свинцовая рана,
ни диско-движения стройненьких плеч.
А ты отправляйся обратно на печь –
твой хит позабыт и зятанут.
Вот солнце покатится скоро в зенит,
вино допоёт, и стекло прозвенит,
пластинка твоя прохрустит под ногой –
и станешь ты тенью, как я, золотой.
Затянется рана, пройдёт торжество –
и больше не помнит никто ничего».

Санитар

лето в лефортово трэш и угар
время гляделок и прятков
вдоль по больнице идёт санитар
с крыльями возле лопаток
пахнет из окон жарой и смолой
детской лаптою и мятой
спи говорит ангелок золотой
спи мой придурковатый
вызволит каждого лоб осенит
вынет больное дурное
видишь удрала в стеклянный зенит
матушка-параноя

страшно мне страшно за мною следят
скоро защёлкнут оковы
это слегка лиловее слюда
крылышек мотыльковых
память игра домино и лото
стук сумасбродный подъездный
нету болезни мой золотой
нету мой бесполезный
боли в затылке так это пардон
просто корона мешает
всё одобряет прекрасный партком
партия всё разрешает

завтра нагрянут с проверкой в чертог
гости из штатов несметных
стань мой великий для них на часок
самым последним из смертных
скипетр и мантию спрячь под кровать
пой лишь партийные песни
тихо умри ни к чему рисковать
после воскресни воскресни

Зачесать парик на прямой пробор,
затянуть гражданское – так, для грима;
до начала пьесы – один прогон,
две корзины нервов, камзол игривый;
пять минут на сплетенный перекур –
и на сцену марш – отражать эпоху:
ты сегодня – ряженный взригуд,
одописец личный царя гороха.
Вот тебе удача – и вот почёт,
с ястребиной силой перо взлетает.
Посмотри, за левым моим плечом
не стоят ли страждущие с цветами;
облегчённо выдохни – никого,
а потом ещё посмотри за правым –
и, пока строчу, вызывай омон:
пусть выносит прочь из погрома, срама
на руках со сцены – бегом, бегом,
под шуршащий гул одобренья в зале
(ни фига себе режиссёрский ход!
ну сыграли, милые, так сыграли!).
И, пока охрана тревогу бьёт,
я тебе успею сказать о многом:
для чего и кем я приговорён
к мраку, гриму, сраму, опять погрому.
Царь сидеть останется, как влитой;
вот и девять граммов ему от смерда
самой лучшей одой летят в лицо –
о везенье разом – в любви и смерти.

Из цикла «Бабочка Гродберга»

В этой системе разладилось что-то – и вот
больше на жёстком магнитном никто не живёт.
Память легко удаляет ненужные файлы.
В левом углу монитора кораблик плывёт.

Сколько на крестик ни жми – выплывает окно:
светлая комната. Четверо. Ночь. Люблино.
Немногословные, словно подземные стражи:
этот застенчив, а эта – уткнулась в кино.
...Алое-алым плывёт под футболкой пятно.

Я никому не под стать в этом пасмурном царстве.
Райская скатерть бела – о, безмерность моя! –
или молчание – сумрачно, жёстко, пацански,
или рыдание – залпом, в четыре ручья.

Крепко отчаянье, крепко держу на весу.
Дурой-рукой небольшую устрою грозу:
дурой-рукой, чтоб не вязнуть в их топком покое,
скатерть, и блюдца, и всё это царство снесу.

Может, хотя бы тогда пошевелиятся, но –
это минутное чувство, скорее, смешно.
О, моя радость – мотив жестяной, коробейный!

Алое-алым плывёт под футболкой пятно.

Нету других «потому» на твои «почему».
Музыка, музыка – выстрелом в топкую тьму.
Эта программа уже никогда не ответит.
...Дай завершить самому.

Я не знаю много песен, знаю песенку одну...

Фёдор Сологуб

я не знаю много песен
знаю песенку одну
эта песенка во мне и днём и ночью
тёмен смысл мотив невесел
с ней проснусь и не засну
всё звучит и не даёт поставить точку

с ней иной словарь мне выдан
словно паспорт иль диплом
плыл я морем шёл я лесом райским садом
вещим ужасом пропитан
словно спиртом под стеклом
и теперь всё не о том о том о самом

а о чём о том о самом
ни о чём и обо всём
хоровая фронтовая и блатная
с этой песенкой упрямой
всё на спад и всё на слом
неизменна только музыка иная

а какая там иная
про весну иль про войну
ужас детства много слов и мало солнца
я спою её китайцу
отходящему ко сну
не поверит улыбнётся отвернётся

но однажды он поверит
в то что правды нет иной
пусть не высказать себя путём окольным
тонкой бритвою по вене
алый-алый проливной
смысл известный поднебесный подневольный

он узнает нет покоя
всё поймёт и не заснёт
сядет ангел к изголовью добрый руди
колыбельку он рукою
осторожною качнёт
спи спокойно завтра день хороший будет

Поэт и его муза

В новой книге Бориса Кутенкова два действующих лица: «он» и «она», поэт и его муза. К ней все его устремления, её он видит во множестве «она», с ней ощущает себя связанным неразрывно и навсегда. Он объясняет ей сложившуюся ситуацию: «в эдеме выбито окно // сворован лучший плод // но стёкол некому чинить», «говоришь мне и говоришь, // что-то важное говоришь», «я не верю ещё, ещё». Возмущается: «что ты солнышко ищешь во мне упёрто // беребишь фэйсбучишь по пустякам». Просит: «не поучай меня без надобности», «приучи меня к речи неправильной, // злым глаголам, плохим новостям», «приходи устать от меня вдвоём, // поиграть с погасшим вчерашним днём. // разожги обычный, не мировой // или просто постой за моим плечом», «совпади со мной, проруби окно, // проруби окно – прорасти крыла». Обещает: «я к твоему плечу не в силах оторваться // когда-нибудь склонюсь когда когда-нибудь». Заклинает: «Днём облачным, а ночью – огненным, // и днём и ночью – болезным, – // води меня водой и оловом, // прямого, – трудным и кривым».

Нерв этой книги, эмоциональное напряжение, сплавляющее воедино её тексты, задано внутренним конфликтом, который есть конфликт между поэтом и его музой. Целью же в данном случае является обретение того истинного голоса поэта, который устанавливается только по мере уяснения им, что же представляет собой его муза, и налаживания с ней должных – для них обоих – отношений. И можно только в очередной раз удивиться, насколько точно название поэтической книги отражает её содержание.

С одной стороны, слово «неразрешённый» означает «недозволенный», а с другой – «непроявленный», или «неустранимый». Безусловно, в названии книги «работают» оба

значения. На поверхности лежит первое – озвучивающее состояние бунта против (неважно, извне усвоенного или чем-то внутренне обусловленного) некоего разрешённого или дозволенного. За любым дозволенным стоит ранее произведённое кем-то проявленное, здесь же важно, что имеет место попытка прорыва, всегда связанная с бунтом против разрешённого, и движущая сила этого прорыва – стремление превратить «неразрешённый» – во втором значении этого слова – конфликт между поэтом и его музой в «разрешённый», то есть проявленный и, возможно, устранённый.

Способ, с помощью которого Борис Кутенков осуществляет свой «прорыв», определяется тем, что его поэзия принадлежит, как мне уже довелось писать, к «срединному течению», которое можно назвать «традиционалистским» и которое «вбирает в себя результаты экспериментов», постоянно идущих в культурном пространстве и во множестве имевших место «в поэзии на протяжении XX века» и «на рубеже XX и XXI веков»¹.

Там же цитируется характеристика современной поэзии, данная Кутенковым на одном из выступлений: «вся вторична, всё её поле вспахано и засеяно, на нём уже невозможно найти свой клочок земли», с комментариями, что «культурное пространство пересыщено тем, из чего поэту требуется построить "свой голос"». И в этом пространстве «есть настолько всё, что оно воспринимается как целостная система, по отношению к которой всё вторично, а в результате приходится действовать в пустоте», являющейся «той самой всё вобравшей в себя "содержательной пустотой", которая называется вакуумом» и есть «первооснова мира».

И далее: «"Свой голос", то есть способ, которым поэт с той или иной степенью успешности решает стоящую перед ним задачу работы со словом и своим сознанием», «в данном случае определяется в ходе приспособления под себя

¹ Людмила Вязмитинова. «Сердца четырёх». Новая Реальность, № 38, 2012 (<http://www.promegalit.ru/publics.php?id=5150>).

того, что уже усвоено культурным пространством. Что не исключает, понятно, возможности по мере реализации себя оказаться сколь угодно далеко от и так весьма размытых границ того, что воспринимается как традиционное».

Я позволила себе весьма пространное самоцитирование исключительно в силу того, что новая книга Бориса Кутенкова полностью подтверждает вышеприведённые постулаты. Более того, «свой голос», звучащий в этой книге, во многом формируется настолько страстным поиском внутри сложившегося культурного пространства – с целью обрести некую точку (или точки) опоры, что позволяет прояснить некоторые важные вопросы в отношении экспериментаторства.

Работая с «содержательной пустотой» (слово «пустота» с близкими по значению эпитетами встречается на страницах книги), «по отношению к которой всё вторично», Кутенков использует метод, который можно назвать вариантом «осколочной техники». Эту «технику», имеющую дело с «фрагментами», которые «не складываются ни во что, и по ним трудно угадать, каким было утраченное целое», описала Татьяна Михайловская в предисловии к своей книге «То есть», сдвоенной с книгой Руслана Элинина «Эпиграфы»². Надо сказать, что «фрагменты» Михайловской и Элинина всё-таки «складываются» в соответствующий целям поэтического текста посыл, но действительно, как она пишет, не образуют то «целое», которое бывает в «мозаике».

У Кутенкова «фрагменты» также не образуют присущее мозаике «целое», однако в его текстах оно легко угадывается: это история русской поэзии XX и начала XXI вв. И если у Михайловской и Элинина «осколками» являются отдельные тексты, то у него и сами тексты состоят из того, что можно назвать «осколками» наработанного в русской поэзии за многие десятилетия – от Серебряного века до наших дней. Собранные в книгу, они представляют собой нечто вроде

² М.: Издание Е. Пахомовой, 1998

расплава (недаром в книге есть строка «сладко плакали вещи и плавилась вещи»), в котором «осколки», отсылающие к Анненскому, Блоку, Гумилёву, Маяковскому и далее, Окуджаве и далее, Воденникову, Константину Кедрову, Вадиму Месяцу, Сергею Круглову и далее, соединяясь в разных вариантах, участвуют в процессе выплавки некоего нового «целого». И надо понимать, что речь идёт о выработке личной поэтики, то есть «своего голоса» путём экспериментаторства в рамках наработанного в культурном поле, хотя, как сказано выше, нельзя ни точно определить эти рамки, ни предсказать, произойдёт ли далее у автора выход за их пределы.

Характерно, что описывая ситуацию сегодняшнего дня, Кутенков говорит о «такой обжитой пустоте», в которой «всё смешалось» и «сместилось куда-то вбок», и там «в ночи ледяной» «замёрзший» «соловей поёт» и «цветёт репей», «и неясно, о чём трезвон». Тем не менее, сквозь эту мешанину всего и вся у него проходит отсылающий к «трамваю» Гумилева сквозной образ «в никуда ниоткуда» движущегося «вагона», в который «заскакивает» лирический герой – «он», поэт, и в котором есть «она», его муза, «тоже едущая взад-назад». И на страницах книги «качается вагон // качается вагон // кончается вагон», временами являясь в виде «повозочки» или «плетущейся телеги», в итоге превращаясь в «поезд номер неясность», а затем – в «любовью» «навыюченный» «самолёт».

Положение поэта и его музы, движущихся в неизведанное будущее в «вагоне» жизни и культурной ситуации, весьма неоднозначно, и разобраться в нём практически невозможно, да и нет в том особой нужды. Стоящее за всем этим таинство хорошо описано в двух идущих друг за другом лучших, на мой взгляд, текстах книги – «вот любовью летит самолёт навьючен...» и «ты хотела криэйтора девочка...». В первом описана кульминация конфликта между поэтом и музой:

*по звёздному трапу спускается маленькая гермина
разбивает небесную мандолину обрывает песню
<...>
протягивает руку на дно колодца достаёт голос
рассматривает на просвет
держит не отпускает
держит не отпускает
держит
не отпускает*

Во втором – искомое состояние разрешённости этого конфликта:

*так летим же мы сокол и ласточка
мы мудрейшие голуби дарлинг
не верёвка на горле а ленточка
новогодняя завязь подарка
дурим змей как последние дервиши
проверяя корзину на верность
и уже не заметить как бережно
с глубиной поравнялась поверхность*

Если оценивать «голос» Бориса Кутенкова в контексте происходящего в современной поэзии, то он явно тяготеет к метареализму. При этом лёгкая ирония и несложная концептуальная игра практически растворяются в серьёзности, свойственной ему при воспроизведении непостижимой множественности реальностей, на которые распадается наш мир при попытке проникнуть в суть вещей. И просто подкупает страстность, с которой он ведёт свой поиск, как говорил Гумилёв, «лучших слов в лучшем порядке».

Людмила Вязмитинова

Борис Кутенков – поэт, литературный критик. Родился и живёт в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Соискатель кафедры новейшей русской литературы (тема диссертации – «Творчество Дениса Новикова и Бориса Рыжего в контексте русской лирики XX века»). Публиковался со стихами в журналах «Белый ворон», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая Реальность», «Новая Юность», «Урал» и др., сборниках «Новые имена в поэзии» (2011) и «Новые писатели» (2013), с критическими статьями и рецензиями – в журналах «Волга», «Вопросы литературы», «Знамя», «Интерпоэзия», «Октябрь» и мн.др., в «Независимой газете» (приложение «Ex Libris НГ»), III томе антологии «Современная уральская поэзия». Стихи вошли в лонг-лист «Илья-премии» (2009 г.), лонг-лист премии «Дебют» (2012), критика – в шорт-лист Волошинского конкурса (2011 г.). «Неразрешённые вещи» – третья книга Бориса Кутенкова – включает в себя стихи 2011-2013 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Бахыт Кенжеев. Из ненужности, из ничего	4
---	---

I

«Так свет и ужас говорят...»	8
Определение поэзии	9
«В никуда ниоткуда несётся листок...»	10
«шумит головной набалдашник написано восемь статей...»	11
Трамвайные голоса	12
«Заberi на память обо мне...»	16
«не на рожон пора на дно...»	17
«Приучи меня к речи неправильной...»	18
Обретший свет	19
«рельсы сходятся реки расходятся...»	20
«У взрослой игрушки – рассерженный вид...»	21
«Вот идёт дровосек осторожно по минному лесу...»	22
«приходи устать от меня вдвоём...»	23
«что ты солнышко ищешь во мне упёрто...»	24
«что ты чахнешь свергнутый королёк...»	25
Отходной гудок	26
«Когда зелёное кино...»	28

II

Из цикла «Письма перед отъездом»	30
«Остывает разлитое солнце над миром-таверной...»	31
«В сердце, Леночка, нож карманный...»	32
«Я ещё подпаду под твою интонацию, мелос...»	34
Кыштымское	35
«Если станут биографы время искать в дневниках...»	37
Птенец картонный	39
«У причала рыбачит ночной гармонист...»	42
«Человек погибает, зажатый тисками поэта...»	43

«Днём облачным, а ночью – огненным...»	44
«вот любовью летит самолёт навьючен...»	45
«ты хотела криэйтора девочка...»	46
«Когда человек умирает...»	47

III

«Герой с мировой возвратился пешком...»	50
«У меня мукомолка – под левым ребром...»	51
Колыбельная	52
«Это – я почти забыл...»	53
«Не успеешь проснуться – пустеешь внутри...»	54
«Человек-толпа не умеет сберечь...»	55
Лесная драма	56
«мимо ушиба течёт безразличье на скатерть...»	57
«плывёт в родное море рыбица...»	58
«мне нравится смотреть как умирает боль...»	59
«Чай, заварка, вскипающий чайник...»	60
«Не научившись жить по чьей-то мудрой воле...»	61
«Три года певец почивал молодой...»	62
Санитар	63
«Зачесать парик на прямой пробор...»	64
Из цикла «Бабочка Гродберга»	65
«я не знаю много песен...»	66
Людмила Вязмитинова. Поэт и его муза	68

